

Ткачев Петр Никитич

**Избранные сочинения на
социально-политические темы в 6
томах**

Том 4

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-1
ББК 84-5
ПЗ0

ПЗ0 **Петр Никитич Т.**
Избранные сочинения на социально-политические темы в 6 томах: Том 4 / Ткачев Петр
Никитич – М.: Книга по Требованию, 2024. – 462 с.

ISBN 978-5-519-76919-8

ISBN 978-5-519-76919-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

О ПОЧВЕННИКАХ НОВЕЙШЕЙ ФОРМАЦИИ¹

Мы думали, да, вероятно, и вы, читатель, воображали, что нами давно уже пережито то время, когда Бурачок² и его союзники находили себе не только последователей, но и горячих защитников; когда они проповедывали по всем градам и весям с тлетворном на нас веянии Запада, и их слушали, мало того, что слушали, но и считали их пророками своей земли. Они убедительно советовали нам раз и навсегда отплеваться от еретических теорий европейской науки, стать лицом к лицу с своим национальным идеалом и искать корень нашей мудрости в почве. «Оторвавшись от почвы, — поучал нас некогда «Маяк», — вы витаєте с вашими чревоугодниками Гегелем и Шеллингом в чистейших эфирах и не видите того, что делается у вас под ногами. Вы мечтаете, что только то и преисполнено всякой мудрости, что не свое. А по мне в нашем «Домострое» открыто гораздо больше здравых начал и опытом изведанных истин, чем у всех ваших Шеллингов» («Маяк», кн. 3, стр. 103). Теперь вы, конечно, припоминаете, в чем заключался идеал Бурачков старой формации, куда нас вело это литературное кликушество, и нам нет надобности объяснять вам его значение. Это вечная старая сказка о белом бычке, которую каждое поколение рассказывает на свой лад. После покойного Бурачка, не то что не понятого, но пересолившего через край, и потому умиравшего одиноким, втуне воювавшим в своей пустыне, семя его, однакож, не пропало даром; оно хотя и было брошено на каменистую или, выражаясь более точным почвенным языком, на болотистую почву, но все же принесло свой вожделенный плод. Когда наступило время собрать жатву такого неутомимого сеятеля, как Бурачок, чистое зерно свез в свои московские житницы Аксаков, а шелуху и мякину подобрали в свои петербургские закромы братья Достоевские³. Правда, что это уже была несколько иная почва, чем та, которую разрабатывал покойный Бурачок, — почва, очищенная и удобренная философией г. Страхова, критикой Григорьева, публицистикой Щеглова⁴, сатирой Безрылова⁵ и т. д., но черноземный ее грунт был один и тот же. Мякина, которую предлагал своим читате-

лям вечной памяти «Маяк», отличалась от мякины в цвете лет погибших «Времени» и «Эпохи» не столько качеством, сколько количеством. В «Маяке» ее было больше, и она была крупнее, чем в органах Аксакова и Достоевских. Здесь она перемешивалась нередко с другими продуктами нашей почвы, и новые муко-сеи, не изменяя ее существенных элементов, принуждены были, однакож, подслащать ее некоторыми иностранными суррогатами. Но так как под луной нет ничего вечного, то и мякина братьев Достоевских исчезла с лица земли вместе с их органами. Не знаю, кто был настоящим преемником этих двух литературных Ореста и Пилада, не знаю даже и того, что сделалось с чистым зерном Аксакова, унаследованным им от его прямого предка, — Бурачка, но наверное могу сказать, что и их труды не пропали даром... Кто не потерял еще способности отличать зерна от мякины, философии от юродства, тот очень хорошо поймет, что наши новейшие почвенники ведут свою генеалогическую линию непосредственно от Бурачков и Страховых. И тут та же мякина, но опять несколько видоизмененная канцелярскими условиями времени и смешанная с другими суррогатами. Если «Маяк» усматривал в «Домострое» такие истины, какие и не снились Шеллингам, то разве «Неделя», ведущая нас за идеалами в деревню^а, не лучше «Маяка»? Вот на этом-то вопросе — к т о л у ч ш е? — мне и хотелось бы остановиться в моей настоящей заметке.

В одной из моих статей, помещенных в нашем журнале в прошлом году*, я, стараясь объяснить тот неожиданный успех, который возымела у нас педагогическая философия графа Толстого, упомянул, если вы помните, о странном повороте в мирозерцании наиболее юной и авангардной части нашего общества, — повороте, совершившемся еще очень недавно, но тем не менее уже успевшем обнаружиться весьма резко и категорично.

Этот, повидимому, неожиданный, но, на самом деле, давно ожидаемый поворот я объяснил стремлением нашей якобы прогрессивной литературы возвратиться к той самой «почве», над которою некоторые недалёковидные юноши (тогда они, конечно, еще не знали, что и им понадобится почва) так зло и так беспощадно иронизировали лет 15 тому назад, к той почве, которая в «оны дни» была предоставлена в исключительную эксплуатацию разных «Эпох», «Времен», «Дней», «Бесед»^б, Страховых, Григорьевых, братьев Достоевских, Аксаковых и даже, если память меня не обманывает, Скоробрыкиных^в. Не знаю, что думают теперь все эти господа о почве, но, очевидно, она ушла из-под их ног. Другие люди, повидимому, совсем на них непохожие, пред'явили на нее свои права. А так как она принадлежит к тому

* См. статью «Народ учить или у народа учиться?», — «Дело», № 4.
Примечание Ткачева.

разряду вещей, который в римском праве обозначался техническим выражением *res nullius* *, то, понятно, ею может завладеть всякий, кто только возьмет ее «под свою защиту». Когда ее защищали почтенные коллабораторы «Дней», «Времен» и «Эпох», она им, по праву, и принадлежала; теперь в защиту ее выступили коллабораторы «Недели», «Молвы»¹⁰, отчасти «Отечественных Записок», — значит, они ее прямые господа и хозяева. Конечно, это господство мнимое, фиктивное, да и самый-то объект его более относится к области мифа, фантазии, чем к области реальной действительности, однакож, несмотря на всю свою фиктивность, оно приводит к некоторым положительным результатам: оно устанавливает некоторую реальную связь между фантастическим владельцем и его фантастическим владением.

Когда я воображу себе, будто такая-то вещь или такой-то факт (хотя бы и не существующий) составляет нечто со мною единое, что он-то всего более пригоден для выражения моих желаний, моих душевных настроений и т. п., я невольно начинаю чувствовать к нему (и чувствовать уже не фиктивно, а реально) некоторую привязанность, и, под влиянием этой привязанности, я его разукрашаю, идеализирую, ставлю на пьедестал.

Старые «почвенники», начиная с Бурачка и кончая, если угодно, чревовещательной философией какого-нибудь Ивана Корейши, идеализировали свою почву именно потому, что они считали ее «своею», что они и сами верили, и других старались уверить, будто они стоят на ней обеими ногами, будто она всего более приспособлена к той культуре, которая им больше всего приходится по вкусу, и будто на ней не может произрасти ни одно зерно, взятое не из их амбаров. Неумолимые противники всяких «новшеств», лютые гонители «духа времени», они с ехидным злорадством указывали пальцами на тех, кого они крестили именем «рыцарей свистопляски»¹¹. «Шуты вы гороховые, свистуны вы беспардонные, — шипели они; — неужели вы не понимаете, что все ваши прекрасные теории и идеалы — чистейшая утопия, что под ними нет «почвы»? Вы взяли их напрокат от ваших западных учителей и воображаете, будто их можно пересадить и к нам. Нет-с, наша «почва» не примет их, они противны ее «духу», и она плюет на весь ваш в самом корне подгнивший Запад!..» Бурачок, если бы только он жил в наше время, к этому прибавил бы еще несколько крепких слов, вроде следующих: а мне плевать на всех ваших Боклей, Дарвинов, Тиндалей, когда вся их мудрость не стоит и медного гроша, по сравнению с нашим архи-почвенным «Домостроем». Правду они говорили или вралы — «почву» об этом никто не спрашивал, и ее мнение на этот счет и до сих пор никому не известно. Но это обстоятельство, как видно, ни мало не стесняет

* Вещь, никому не принадлежащая. Ред.

«новейших» почвенников. С алломбом своих предшественников, с неподражаемою развязностью Репетиловых, они, законные дети старых западников, торжественно теперь заявляют, что их идеалы, их теории вполне почвенны, что только их семя и может дать роскошный плод. Они убеждены или, по крайней мере, стараются казаться убежденными, что «безжизненность русской критики и публицистики происходит именно от ее ограниченного западничества»¹². А из этого само собою следует, что критика оживится только тогда, когда ограниченное и узкое западничество будет заменено в нашем мирозерцании широкими взглядами почвы, которую станут возделывать эти новые сеятели. И не подумайте пожалуйста, оговариваются они, чтобы эти сеятели были переодетые славянофилы или квасные патриоты, — о нет! — это настоящие европейцы, но только не книжники, и нам остается догадываться, что это какая-то новая помесь гг. Аксаковых с гг. Страховыми и Григорьевыми. Как бы то ни было, но, уверив себя в этом, они начинают уже взирать с каким-то высокомерным сожалением на несчастных «книжников», «фарисеев», «западников», воображающих, будто нашу «почву» можно подвести «под рамки, формулы, мнимые (?) законы той бездушной социологии, которая стоит только за хищника и знать не знает никаких требований человеческой правды и справедливости» («Молва», № 2, «Журн. обзор.»)¹³.

Очевидно, почвенники новейшей формации состоят, по большей части, из Иванов Непомнящих. Они забыли, что те самые идеалы, которые теперь они считают наиболее проникнутыми духом почвы, — что эти идеалы их родители целиком заимствовали от «своих западных учителей», что они почерпнули их совсем не из недр «народного сознания», а из «мнимых» законов «бездушной» социологии. Они забывают, что «тлетворная» западная цивилизация, породившая столько зла своим «товарным процессом», создала и те учения, под влиянием которых в них впервые запало «жизни чистой, человеческой благотворное зерно». Они забывают, что те нравственные идеалы, которые делают их лучше и гуманнее окружающей их среды, — что эти идеалы они опять-таки заимствовали не из «почвы», не из «Домостроя» Бурачка, не из допетровской Руси Аксакова, а от старой «бездушной и эгоистической» цивилизации, заимствовали посредством изучения западно-европейской мысли и ее последних результатов.

Впрочем, не подумайте, что я хочу защищать цивилизацию от наших почвенников. Нет, это было бы совершенно напрасной тратой времени; ведь известно, что наши почвенники всех формаций судили об европейской цивилизации с точки зрения Митрофанов, рассматривали ее из Толмазовых переулков, и потому спорить с ними об этом совершенно бесполезно. Я вспоминаю здесь об их забывчивости только для того, чтобы еще раз пока-

зять читателю, как много общего у наших новейших рыцарей почвы с древнейшими. И те, и другие с удивительным согласием забывают те именно факты в своем развитии, о которых им бы, по-настоящему, только и следовало помнить; и те, и другие одинаково утратили сознание о том, как и откуда появились у них их почвенные идеалы. Мало того, и те, и другие взводят на нашу литературу совершенно одинаковые обвинения. Мы с вами не настолько счастливы, чтобы, подобно им, забыть прошлое, мы очень хорошо помним, в чем именно старейшие почвенники упрекали западников и их литературные и общественные тенденции. Они винили их в чрезмерном и чересчур беспощадном отрицании, в «оторванности» от почвы, в созерцании русской жизни сквозь призму иностранных книжек, заграничных теорий, в совершенном непонимании и незнании истинных потребностей русской жизни.

Просмотрите теперь № 44 «Недели» (за 1875 г.), и вы убедитесь, что совершенно то же самое говорят и наши новейшие почвенники. Безжизненность нашей литературы происходит, по их мнению, оттого, что она «превратила отрицание в ремесло», «оторвалась» от жизни. «Отбросив лицемерие, нужно с горечью сознаться, — говорит автор статьи: «Отчего безжизненна наша литература?», — что не одни «Отечественные Записки», а почти все наши литераторы по профессии — книжники, книжники с головы до пят, с идеалами и стремлениями, сложившимися исключительно «по иностранным» книжкам. И этим-то людям, созерцающим Россию издали, — многие из них никогда не жили в провинции, — через «заграничные очки», — приходится быть руководителями общественного мнения, давать ответ на запросы русской жизни!»

Открыв причину безжизненности нашей литературы (давно уже, впрочем, открытую старейшими почвенниками), наш новейший Колумб без труда отыскивает и средства для ее устранения. Только «люди деревни», говорит он, могут оживить литературу, могут сделать ее действительною руководительницею общественного мнения и т. п. Вот и новая Америка, как видите, открыта!

Но позвольте, однакож, читатель: случалось ли вам когда-нибудь слышать что-нибудь подобное даже от покойных Шиховых, Киреевских и Бурачков? Насколько мне помнится, даже старейшие почвенники не отваживались доходить до таких геркулесовых столбов.

Замечаете вы, какие быстрые успехи делает у нас философия г-на Толстого? В прошлом году мы, основываясь на ней, отдавали в руки «людей деревни» дело воспитания деревенского юношества; нынче мы находим, что в их руки следует передать дело воспитания всего общества вообще, т. е. его литературу. Как это умно и логично, как это должно быть лестно для нас

с вами! До сих пор мы имели наивность воображать, будто на нас лежат некоторые обязанности относительно «людей деревни»; будто мы должны, в обмен на получаемый от них вещественный хлеб, снабжать их хлебом духовным, заботиться об их умственном и нравственном развитии, помогать им в их практических нуждах своими советами и указаниями, руководить воспитанием их детей и т. п. Все это оказывается теперь вздором: люди деревни, по части духовной пищи, гораздо богаче нас; они несравненно лучше, чем мы, понимают, как и чему следует учить детей; наконец, они одни только и могут оживить нашу мертвую, заеденную отрицанием литературу. Согласитесь, если можно было открыть другую Америку, то это открытие было бы для нас несравненно менее выгодно, чем то, которое сделали наши новейшие почвенники.

Ах, если бы это только было действительное открытие, а не какая-нибудь мистификация! Но в том-то и беда, что Америка наших Колумбов не есть Америка реальная, настоящая, а Америка воображаемая, так сказать, метафизическая. Они и сами, повидимому, сознают это. Вы думаете, что когда они говорят о «людях деревни», то они имеют в виду людей действительной, реальной деревни, — той деревни, которую я знаю, вы знаете, все мы знаем? О нет! под деревнею они подразумевают совокупное сожитие людей, объединенных общностью интересов, людей нравственно-солидарных, нравственно-чистых и прекрасных.

Вот оно, штука-то какая! Что же, конечно, люди такой идеально-нравственной деревни могут обновить литературу, при одном, однакож, условии: чтобы их нравственное развитие стояло в уровень с их развитием умственным. В противном случае, даже и от них ей нечего ждать себе спасения. Как ни будь человек нравствен, но если он глуп и невежествен, то понятно, кроме глупости и невежества, вы из него ничего не выжмете. Неужели вы, господа почвенники, воображаете, будто для того, чтобы вносить в общество просветительные идеи, чтобы уметь умно отвечать на «запросы жизни», — будто для этого нужно только не таскать платков из кармана, любить ближнего и не быть эгоистом?

Вы это думаете? Да, они это думают или, по крайней мере, думали, когда утверждали, будто только одни «люди деревни» могут вдохнуть жизнь в нашу литературу. Теперь, повидимому, они сами увидели, что сморозили невообразимую чушь, и во 2-м № «Недели» г. П. Ч. несколько старается поправить свое категорическое заявление относительно своих трущобных, деревенских идеалов¹⁴. В № 44 он утверждал, как вы помните, что наша современная литература «оторвалась от жизни», что она чересчур пропиталась «западными» теориями, «книжными» идеалами, что обновить и оживить ее может лишь деревня, т. е. теории, идеи и идеалы, заимствованные из деревни. Но во 2-м № той же газеты

он говорит уже несколько иное. «Всякое мирозерцание, — философствует он, — складывается из двух моментов: во-первых, из той коренной закладки чувств, душевных движений, которую... я называю «нравственными задатками», и во-вторых, из идей и фактических знаний, как продуктов отправлений ума... Первый момент у простонародья вообще и у нашей деревни в особенности правдивее, чем у культурных слоев»... Отсюда он делает такой вывод: литература должна влиять на деревню своими знаниями и идеями, а деревня на литературу — своими «нравственными задатками». Иными словами, первая должна оставаться при своих идеях и знаниях, — по «идейной» части деревня ей ничего не даст; она может позаимствоваться от последней кое-чем лишь по части «нравственной». Значит, безжизненность нашей литературы происходит совсем не оттого, что она «оторвалась от жизни», что она черпает свои идеи из заграничных книжек, что она пропиталась западными теориями и т. п., — нет, она безжизненна потому только, что недостаточно «нравственна». Вот это так открытие — хоть посылай на филладельфийскую выставку!

Г. провинциальный философ¹⁵, поспешите поскорее дать г. Гайдебурову книжку для записывания «глупых речей» его сотрудников! Ведь такие «перлы и адаманты»¹⁶ не должны пропадать бесследно. А вы, г. Гайдебуров, вы литератор давнишний¹⁷, вы должны знать, хотя по слухам, историю нашей литературы; сделайте же некоторое усилие над своею памятью: вспомните, когда и кто обвинял нашу журналистику в недостатке нравственных задатков. Вспомните — и вам станет стыдно, очень стыдно и за себя, и за «Неделю», и за г. П. Ч. Ах, если бы вы могли вспомнить! Но нет, вы, верно, уже все, все забыли.

А между тем это было так еще недавно: «Московские Ведомости» ругали нас «мошенниками пера и разбойниками слова»¹⁸, «Русский Вестник» устами своего юродивого критика¹⁹ укорял нас в нравственной распущенности, в цинизме и разврате, а г. Куперник, с высоты своей адвокатской трибуны, привлекал нас к уголовной ответственности по делу Ковнера²⁰. Вся либеральная пресса, и ваша газета в том числе, ответила дружным смехом и презрением на пошлые инсинуации, на площадные выходки московского кружка. Но зачем же вы смеялись, зачем вы корчили презрительные мины? Ведь это теперь же устами г. П. Ч. вы сами утверждаете, что в нашей литературе чувствуется полное отсутствие тех нравственных задатков, которыми преизобилует ваша идеальная деревня, сочиненная вами в Ивановской улице первopестольного града Петербурга²¹. Люди идеальной деревни проникнуты чувством симпатии к ближнему, они всегда подчиняют свое «я» требованиям общего блага, высшего долга, они любят своих детей (см. «Неделя», № 2), они не эгоисты. Люди

«литературы» отличаются качествами противоположными: они черствые себялюбцы, они поклоняются своему «я» и, кроме него, знать ничего не хотят; им совершенно недоступно чувство солидарности человеческих интересов; они своекорыстные индивидуалисты, они люди, нравственно растленные той «бездушной социологией (как лепечет «Молва», очевидно, плохо еще понимая смысл употребляемых ею слов), которая стоит только за хищника и знать не знает никаких требований человеческой правды и справедливости». Очевидно, только при таком антитезисе людей деревни и людей литературы возможно допустить некоторую справедливость положения почвенников, будто только одна деревня может нравственно обновить литературу. Признаете ли же вы, г. Гайдебуров, или вы, г. «неизвестный» Жемчужников²², подобную антитезу? Да или нет? Если да, то так и говорите: «московские философы правы, г. Куперник прав: литература наша безнравственна...» Это хоть и пошло, да все-таки не так избито, как ваши уверения насчет «оторванности» литературы «от жизни», насчет «книжных теорий», «заграничных очков» и т. п. благоглупостей. И с помощью всего этого суррогата, как вы заявляете в вашем красноречивом объявлении²³, вы намерены вывести «русскую мысль из тесных казенных рамок», выставив при этом на авансцене вашей рекламы литературные авторитеты, с которыми можно обновлять что угодно, но только не литературу.

Однако, при чем же тут все-таки «почва»? Ведь мы повели речь о почвенниках и вдруг очутились лицом к лицу с московскими философами и гг. Куперниками. Впрочем, тут нет ничего удивительного: вероятно, они весьма близко соприкасаются с почвою; поэтому, если нам так естественно было перейти от последней к первым, то не менее естествен будет переход и от первых к последней.*

Итак, возвратимся к почве.

Создав себе идеальное, чисто-фантастическое представление о деревне, как о таком сожитии людей, которое насквозь проникнуто духом общности интересов и человеческой солидарности, почвенники утверждают, будто эта фантастическая деревня и есть настоящая, реальная русская деревня. Утверждение, как видите, довольно смелое и, можно даже сказать, рискованное.

Неужели вы серьезно думаете, будто умственное развитие не играет никакой роли в деле образования «нравственных задатков»? Что за дикая, за нелепая схоластика противопоставлять, как вы это делаете, нравственный момент человеческого мирозерцания моменту умственному! Как будто ваша «коренная закладка (?) чувств и душевных движений» (нравственный момент) не находится в постоянной зависимости от «идей и фактических знаний, как продуктов отправления ума» (умственный момент)! А если так, то не ясно ли, что «коренная закладка» будет ли «прав-

дивее», чем разумнее-идеи, чем доброкачественнее и разностороннее знания? Кажется, это должно быть очевидно для каждого здравомыслящего человека. Но для наших почвенников, или, как их называет «Молва», «публицистов национального сознания» (см. «Молва», № 2), это совсем не ясно. Напротив, г. П. Ч. предполагает, повидимому, что чем идеи неразумнее, чем беднее запас фактических знаний, тем «правдивее» должны быть «нравственные задатки». В подтверждение этого оригинального предположения он приводит два весьма курьезных примера. «Даны, — говорит он («Неделя», № 2), — суеверия, идолопоклонство и иные представления, с ними соприкасающиеся; по формуле грубо, аляповато, иногда (только иногда?) просто возмутительно. А между тем тут в зародыше лежит великое чувство: стремление подчинять свое эгоистическое «я» чему-то более широкому, высшему, к которому человек имеет нравственные обязанности и чему, при случае, готов жертвовать своею личностью»... Затем, когда человек поумнел, он осмелел свои суеверия, отрекся от своих идолов, и что же? — вместе с «грубою, аляповатою формою» утратил и то великое чувство, которое скрывалось под нею.

От какого «человека деревни» позаимствовал г. П. Ч. этот аляповатый факт? И зачем он поверил ему на слово? Зачем он ему поверил, будто в основе идолопоклонства лежало какое-то высокое чувство? Знаете, г. П. Ч., что это было за высокое чувство? Это было сознание своего бессилия и своей беспомощности. Вот так высокое чувство, нечего сказать! Но это куда еще ни шло. А вот что особенно хорошо: с падением суеверий и идолопоклонства человеческая нравственность стала ухудшаться; люди, перестав верить в ведьм и домовых, вместе с этою верою утратили и «стремление подчинять свое эгоистическое «я» чему-то более широкому, высшему». Bravo, «публицисты национального сознания»! Вот что значит договориться до крайней благоглупости, от которой не без отвращения отвернулся бы даже такой почвенник, как приснопамятный Бурачок. И вот с такими-то публицистами г. Гайдебуров собирается обновлять и оживлять русскую литературу!

Другой пример тоже весьма оригинален.

«Я знал, — рассказывает г. П. Ч., — двух матерей. Одна, совсем необразованная, секла своего ребенка не на живот, а на смерть, но секла потому, что любила. Другая, очень образованная (он ее называет американкой, желая этим, вероятно, оттенить степень и характер ее образования), никогда ребенка своего не секла и вообще держалась относительно его политики *laissez faire*; происходило же это оттого, что она его не любила. «Которая же из этих женщин была лучше в нравственном отношении?» — вы спрашивает г. П. Ч. и, разумеется, отдаст предпочтение той, которая хотя и била, да любила. Однако, на каком же это основании? Вы

думаете, что всякая любовь, из какого бы источника она ни происходила и какими бы мотивами ни обуславливалась, есть чувство нравственное? Если любовь к ребенку вашей «необразованной» матери должна была исчезнуть вместе с ее необразованностью, то не значит ли это, что ее любовь обуславливалась главным образом ее нелепыми понятиями о своих материнских правах? Она считала ребенка своею вещью, своею собственностью, и именно потому-то и любила его. Смотри она на него иначе — она относилась бы к нему совершенно индифферентно. Разумеется, все это будет справедливо лишь при предположенной вами зависимости любви от глупости. Но если необразованная мать любила свое дитя в силу каких-нибудь иных причин, то совершенно непонятно, почему любовь должна была пропасть, как только вместо матери невежественной явилась мать просвещенная. Пример ваш ничего этого не объясняет. Из него можно сделать только одно заключение: бывают и глупые матери, которые любят своих детей, бывают и умные, которые их не любят. Но отсюда еще нельзя сказать, будто у глупой, но любящей матери «нравственные задатки» «правдивее», чем у умной, но не любящей. Любовь любви рознь... и для оценки нравственного характера или, как выражаются публицисты национального сознания, «нравственного момента», гораздо важнее знать не то, любит или не любит человек, а то, «как» и «почему» он любит. Не у вас ли, г. П. Ч., позаимствовались своими теориями о материнской и отеческой любви гг. Кроненберг и Спасович²⁴, такие же рыцари почвы, как и вы, только не в литературной, а в семейной и адвокатской практике?

Вот вам и вся аргументация почвенников. Вы видите, каким множеством грехов против здравого смысла она страдает. Первая ее ошибка — метафизическое противоположение среднего культурного человека среднему некультурному человеку. Вторая ошибка — нравственный момент не только отделяется от умственного, но даже противопоставляется последнему, как нечто такое, что не имеет ничего общего с «продуктами отправления ума». Отсюда третья ошибка — бессмысленная идеализация людей деревни и, как результат ее, обвинение литературы в безнравственности и совет: нравственно обновиться... в деревне.

И этот-то винигрет нелепостей «Молва» окрестила именем «национального сознания» и пригласила «каждого развитого человека хорошенько подумать», не следует ли примкнуть к публицистам этого сознания, или, «еще лучше», нельзя ли их согласить и примирить с их антагонистами, т. е. с теми, «которые смотрят в заграничные очки» и вычитывают свои идеи и теории из иностранных книжек!..

Против «примкнутия» я, конечно, ничего сказать не могу. разве только посоветовал бы как можно меньше думать, ибо по-